

Н.Н. Наседкин

Терентьев Ипполит

ТЕРЕНТЬЕВ Ипполит — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Идиот», старший сын Терентьевой Марфы Борисовны. Сначала о нем рассказывает князю Мышкину преданный товарищ Ипполита — Коля Иволгин: «...он старший сын этой куцавешной капитанши и был в другой комнате; нездоров и целый день сегодня лежал. Но он такой странный; он ужасно обидчивый, и мне показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую минуту... <...> Ипполит великолепный малый, но он раб иных пред-
рассудков.

— Вы говорите, у него чахотка?

— Да, кажется, лучше бы скорее умер. Я бы на его месте непременно желал умереть. Ему братьев и сестер жалко, вот этих маленьких-то. Если бы возможно было, если бы только деньги, мы бы с ним наняли отдельную квартиру и отказались бы от наших семейств. Это наша мечта. А знаете что, когда я давеча рассказал ему про ваш случай, так он даже разозлился, говорит, что тот, кто пропустит пощечину и не вызовет на дуэль, тот подлец. Впрочем, он ужасно раздражен, я с ним и спорить уже перестал...»

Впервые появляется Ипполит на авансцене действия в компании Бурдовского на даче Лебедева, когда молодые люди заявили с требованием части наследства Павлищева. «Ипполит был очень молодой человек, лет семнадцати, может быть и восемнадцати, с умным, но постоянно раздраженным выражением лица, на котором болезнь положила ужасные следы. Он был худ как скелет, бледно-желт, глаза его сверкали, и два красные пятна горели на щеках. Он непрерывно кашлял; каждое слово его, почти каждое дыхание сопровождалось хрипом. Видна была чахотка в весьма сильной степени. Казалось, что ему оставалось жить не более двух, трех недель...»

Ипполит Терентьев в мире Достоевского — один из самых «главных» самоубийц (наряду с такими героями, как Свидригайлов, Кириллов, Крафт...), хотя его попытка самоубийства и не удалась. Но дело в самой идее суицида, которая поглотила его, стала его *idée fixe*, стала его сутью. Помимо Ипполита многие персонажи «Идиота» и даже из основных (Парфен Рогожин, Настасья Филипповна, Аглая Епанчина) то и дело мечтают-говорят о самоубийстве, так что, видимо, не случайно в предварительных планах по поводу Терентьева, этого — не из числа главных — героя, появляется многозначительная помета-запись: «Ипполит — главная ось всего романа...» Совсем юный вчерашний гимназист Ипполит Терентьев приговорен к смерти чахоткой. Перед скорой уже кончиной ему необходимо решить капитальнейший вопрос: был ли смысл в его рождении и жизни? А отсюда вытекает другой — еще более глобальный — вопрос: есть ли вообще смысл в жизни? А из этого — вырастает самый всеобъемлющий вопрос бытия человека на земле, волнующий, мучающий самого Достоевского: существует ли бессмертие? Весьма, опять же, знаменательно, что в подготовительных материалах Ипполит практически сопоставляется с Гамлетом записью-вопросом: «Жить или не жить?..» В этом смысле Терентьев является как бы предтечей Кириллова из «Бесов». Важно подчеркнуть, что, как это зачастую бывает у Достоевского, свои самые сокровенные мысли-проблемы он доверяет герою, казалось бы, весьма не симпатичному: «Ипполит Терентьев, — неожиданно визгливым голосом провизжал последний...» «Визгливым провизжал» — это сильно даже для Достоевского. И рефрен этот будет настойчиво повторяться: «прокричал визгливым <...> голосом Ипполит», «провизжал опять Ипполит», «визгливо подхватил Ипполит», «завизжал Ипполит» и т. д., и т. д. В одной только сцене, на одной лишь странице романа Ипполит «визжит» четырежды — каждый раз, как только открывает рот. С таким «даром» трудно вызвать симпатию у окружающих и заставить их согласиться с твоими доводами, даже если ты на все сто прав. Но и этого мало. Ипполит, как видно из его поведения и как

он откровенно признается в своей исповеди, в своем «Необходимом объяснении» перед смертью, во взаимоотношениях с окружающими не забывает о сформулированном им самим основном законе жизни: «люди и созданы, чтобы друг друга мучить...» Но, может быть, еще ярче характеризует его натуру, его состояние духа следующий экстравагантный пассаж из «Объяснения»:

«Есть люди, которые в своей раздражительной обидчивости находят чрезвычайное наслаждение, и особенно когда она в них доходит (что случается всегда очень быстро) до последнего предела; в это мгновение им даже, кажется, приятнее быть обиженными, чем не обиженными...»

Визгливость Ипполита свидетельствует о хронически возбужденном его состоянии, о непрерывном приступе раздражительной обидчивости. Эта раздражительная обидчивость — как бы защитная маска. Из-за болезни он чувствует себя ущербным, он подозревает, что все и вся над ним смеются, что он всем омерзителен, что он никому не нужен и, в конце концов, — даже не интересен. Притом не надо забывать, что это, по сути, еще совсем мальчишка, подросток (почти сверстник «будущего подростка» Аркадия Долгорукого) со всеми сопутствующими возрасту комплексами и амбициями. Ипполиту ужасно, например, хочется быть «учителем». «Ведь вы ужасно все любите красоту и изящество форм, за них только и стоите, не правда ли? (я давно подозревал, что только за них!)...», — выговаривает он целому обществу собравшихся в комнате взрослых людей, словно подражая Фоме Опискину из повести «Село Степанчиково и его обитатели». Безжалостный Евгений Павлович Радомский, подметив эту черту в бедном Ипполите, жестоко его высмеивает-поддевает: «...я хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет...» Ипполит подтверждает: да — говорил-утверждал такое. Итак, он чувствует в себе дар проповедника, вернее — агитатора-пропагандиста, ибо считает себя атеистом. Однако ж атеизм его тяготит, ему мало атеизма:

«А знаете, что мне не восемнадцать лет: я столько пролежал на этой подушке, и столько просмотрел в это окно, и столько продумал... обо всех... что... У мертвого лет не бывает, вы знаете. <...> Я вдруг подумал: вот эти люди, и никогда уже их больше не будет, и никогда! И деревья тоже, — одна кирпичная стена будет, красная <...> знаете, я уверился, что природа очень насмешлива... Вы давеча сказали, что я атеист, а знаете, что эта природа...»

На этом месте Ипполит свою исповедальную мысль оборвал было, заподозрив опять, что слушатели над ним смеются, однако ж тоска его от бремени напускного атеизма наружу рвется неудержимо, и он, чуть погодя, продолжает:

«О, как я много хотел! Я ничего теперь не хочу, ничего не хочу хотеть, я дал себе такое слово, чтоб уже ничего не хотеть; пусть, пусть без меня ищут истины! Да, природа насмешлива! Зачем она, — подхватил он вдруг с жаром, — зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что единственное существо, которое признали на земле совершенством... сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что если б пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись наверно! О, хорошо, что я умираю! Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь, природа бы так подвела!.. Я не развращал никого... Я хотел жить для счастья всех людей, для открытия и для возвещения истины... <...> и что же вот вышло? Ничего! Вышло, что вы меня презираете! Стало быть, дурак, стало быть, не нужен, стало быть, пора! И никакого-то воспоминания не сумел оставить! Ни звука, ни следа, ни одного дела, не распространил ни одного убеждения!.. Не смейтесь над глупцом! Забудьте! Забудьте все... забудьте, пожалуйста, не будьте так жестоки! Знаете ли вы, что если бы не подвернулась эта чахотка, я бы сам убил себя...»

Здесь особенно важно упоминание о Христе (причем, какой нюанс: «атеист» Ипполит не называет, не решается назвать Его по имени!) и признание в суицидальном замысле. Ипполит все время как бы идет-движется (к смерти) по узкой досочке между атеизмом и верой. «И какое нам всем дело, что будет *потом*...» — восклицает он и тут же, следом, достает из кармана пакет со своим «Необходимым объяснением», которое дает ему хоть какую-то надежду, что — нет, весь он не умрет...

Впрочем, эпиграфом к своей исповеди этот подросток берет самое, может быть, атеистическо-циничное восклицание в истории человечества, приписываемое Людовику

XV: «Après moi le deluge!» (*фр.* «После нас хоть потоп»). Да, по форме и по сути «Мое необходимое объяснение» — исповедь. И исповедь — предсмертная. К тому же, о чем слушатели сразу не догадываются, — исповедь самоубийцы, ибо Ипполит решил ускорить искусственно и без того уже близкий свой конец. Отсюда — запредельная откровенность. Отсюда — явный налет цинизма, во многом, как и в случае с Подпольным человеком, напускного. Ипполита терзают муки, обида нераскрывшегося человека, не понятого, не оцененного по достоинству. В первую очередь потрясает в исповеди Ипполита невероятно жуткий сон про «скорлупчатое животное», описанный-воспроизведенный им на первых страницах своего «Объяснения»:

«Я заснул <...> и видел, что я в одной комнате (но не в моей). Комната больше и выше моей, лучше меблирована, светлая, шкаф, комод, диван и моя кровать, большая и широкая и покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом. Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно нарочно у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад, длинной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не больше десятой доли вершка. На вершок от головы, из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, не длинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенно быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся, что оно меня ужалит; мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою комнату, что хотят мне сделать, и в чем тут тайна? Оно пряталось под комод, под шкаф, заползало в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро перебежало наискось всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе осматривался, но так как я сидел поджав ноги, то и надеялся, что оно не всползет на стул. Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест; я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моею головой, и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с чрезвычайною быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я боялся лечь, чтоб оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали ловить гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять; он полз в этот раз очень тихо и как будто с каким-то особым намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискось комнаты, к дверям. Тут моя мать открыла дверь и кликнула Норму, нашу собаку, — огромный тернеф, черный и лохматый; умерла пять лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала над гадиной как вкопанная. Остановился и гад, но все еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста. Животные не могут чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь; но в эту минуту мне показалось, что в испуге Нормы было что-то как будто очень необыкновенное, как будто тоже почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно ползшим на нее; он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но, несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожа всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою огромную красную пасть, прировнилась, изловчилась, решила и вдруг схватила гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма еще раз поймала его, уже на лету, и два раза всюю пастью вобрала его в себя, все на лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах; хвостик животного и лапы, выходявшие из пасти, шевелились с ужасною быстротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула: гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана...»

Жить с таким скорлупчатым насекомым в снах, а еще точнее сказать — в душе, совершенно невыносимо и невозможно. Эту страшную аллегория можно даже и понять-расшифровать так: скорлупчатое животное не то что поселилось-взросло в душе Ипполита, а вообще вся душа его, под влиянием культивируемого циничного атеизма, превратилась в скорлупчатое насекомое... И далее образ скорлупчатого насекомого трансформируется в конкретный образ тарантула: в одном из очередных бредовых кошмаров «кто-то будто бы повел» Ипполита за руку, «со свечкой в руках», и показал ему «какого-то огромного и отвратительного тарантула», который и есть «то самое темное, глухое и всесильное существо», которое правит миром, разрушает безжалостно жизнь, отрицает бессмертие.

А тарантул, в свою очередь, в новом кошмаре Ипполита персонифицируется с... Парфеном Рогожиным, который в виде привидения явился ему. Именно после этого отвратительного видения Ипполит и решил окончательно на самоубийство. Но особенно важно, что образ тарантула и привидение Рогожина (будущего убийцы Настасьи Филипповны — уничтожителя жизни и красоты!) следуют-появляются сразу после воспоминаний Ипполита о картине, которая поразила его в доме Рогожиных. Это полотно Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос». На полотне крупным планом изображен только что снятый с креста Иисус Христос, притом в самой натуралистической, гиперреалистической манере — по преданию, художник рисовал с натуры, а «натурщиком» ему послужил настоящий труп утопленника. Ранее там же, у Рогожиных, эту картину лицезрел князь Мышкин и в диалоге по поводу ее с Парфеном услышал от последнего, что тот любит на эту картину смотреть. «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» — вскрикивает князь. И Рогожин спокойно признается: «Пропадает и то...» По утверждению А.Г. Достоевской, мысль-восклицание Мышкина — дословное воспроизведение непосредственного впечатления самого Достоевского от картины Гольбейна, когда увидел он ее впервые в Базеле.

Мысли о добровольной быстрой смерти и раньше мелькали в раздраженном мозгу Ипполита. К примеру, в сцене, когда они с Бахмутовым остановились на мосту и стали смотреть на Неву, Ипполит вдруг опасно нагибается над перилами и спрашивает спутника, мол, знает ли тот, что только что пришло ему, Ипполиту, в голову? Бахмутов тут же догадывается-восклицает: «Неужто броситься в воду?..» «Может быть, он прочел мою мысль в моем лице», — подтверждает в «Необходимом объяснении» Терентьев. В конце концов Ипполит окончательно решает уничтожить себя, ибо «не в силах подчиниться темной силе, принимающей вид тарантула». И вот здесь возникает-появляется еще одна капитальная и глобальная идея-проблема, которая сопутствует суицидальной теме неотъемлемо, а именно — поведение человека перед актом самоубийства, когда человеческие и вообще все земные и небесные законы над ним уже не властны. Человеку предоставляется возможность перешагнуть через эту черту безграничной вседозволенности, и шаг этот находится в прямой зависимости от степени озлобленности человека на все и вся, от степени его цинического атеизма, да и от степени умопомрачения рассудка, наконец. Ипполит до этой, крайне опасной для окружающих, мысли доходит-скатывается. Его даже рассмешила идея, что если б вздумалось ему убить сейчас человек десять, то никакой суд уже не был бы над ним властен и никакие наказания ему не страшны, и он, наоборот, последние дни провел бы в комфорте тюремного госпиталя под присмотром врачей. Ипполит, правда, рассуждает на эту острую тему в связи с чахоткой, но, понятно, что чахоточный больной, решившийся на самоубийство, еще более своеволен в преступлении. Между прочим, уже позже, когда самоубийственная сцена произошла-кончилась, Евгений Павлович Радомский в разговоре с князем Мышкиным высказывает весьма ядовитое и парадоксальное убеждение, что-де новую попытку самоубийства Терентьев вряд ли совершит, но вот «десять человек» перед смертью укокошить вполне способен и советует князю стараться не попасть в число этих десяти...

В исповеди Ипполита обосновывается право неизлечимо больного человека на самоубийство:

«...Кому, во имя какого права, во имя какого побуждения вздумалось бы оспаривать теперь у меня мое право на эти две-три недели моего срока? Какому суду тут дело? Кому именно нужно, чтоб я был не только приговорен, но и благонаравно выдержал срок приговора? Неужели, в самом деле, кому-нибудь это надо? Для нравственности? Я еще понимаю, что если б я в цвете здоровья и сил посягнул на мою жизнь, которая “могла бы быть полезна моему ближнему”, и т. д., то нравственность могла бы еще упрекнуть меня, по старой рутине, за то, что я распорядился моею жизнью без спросу, или там в чем сама знает. Но теперь, когда мне уже прочитан срок приговора? Какой нравственности нужно еще сверх вашей жизни, и последнее хрипение, с которым вы отдадите последний атом жизни, выслушивая утешения князя, который непременно дойдет в своих христианских доказательствах до счастливой мысли, что в сущности оно даже и лучше, что вы умираете. (Такие, как он, христиане всегда доходят до этой идеи: это их любимый конек.) <...> Для чего мне ваша природа, ваш Павловский парк, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо

и ваши вседозволенные лица, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш, и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это!..»

Казалось бы, Ипполит доказывает свое право распоряжаться собственной жизнью перед людьми, но на самом деле он пытается заявить свое право, конечно же, перед небесами и упоминание о христианах здесь весьма красноречиво и, в этом плане, однозначно. И далее Ипполит впрямую проговаривается:

«Религия! Вечную жизнь я допускаю и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало: “я есмь!”, и пусть ему вдруг предписано этою высшею силой уничтожиться, потому что там так для чего-то, — и даже без объяснения для чего, — это надо, пусть, я все это допускаю, но опять-таки вечный вопрос: для чего при этом понадобилось смирение мое? Неужто нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело? Неужели там и в самом деле кто-нибудь обидится тем, что я не хочу подождать двух недель? Не верю я этому...»

И уж вовсе затаенные мысли на эту особенно жгучую для него тему прорываются в конце «Необходимого объяснения»:

«А между тем я никогда, несмотря даже на все желание мое, не мог представить себе, что будущей жизни и провидения нет. Вернее всего, что все это есть, но что мы ничего не понимаем в будущей жизни и в законах ее. Но если это так трудно и совершенно даже невозможно понять, то неужели я буду отвечать за то, что не в силах был осмыслить непостижимое?...»

Борьба веры и безверия усилием воли заканчивается у Ипполита победой атеизма, утверждением своеволия, обоснованием бунта против Бога, и он формулирует самый краугольный постулат суицида:

«Я умру, прямо смотря на источник силы и жизни, и не захочу этой жизни! Если б я имел власть не родиться, то наверно не принял бы существования на таких насмешливых условиях. Но я еще имею власть умереть, хотя отдаю уже сочное. Не великая власть, не великий и бунт.

Последнее объяснение: я умираю вовсе не потому, что не в силах перенести эти три недели; о, у меня бы достало силы, и если б я захотел, то довольно уже был бы утешен одним сознанием нанесенной мне обиды; но я не французский поэт и не хочу таких утешений. Наконец, и соблазн: природа до такой степени ограничила мою деятельность своими тремя неделями приговора, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я еще могу успеть начать и окончить по собственной воле моей. Что ж, может быть, я и хочу воспользоваться последнею возможностью дела? Протест иногда не малое дело...»

Акт самоубийства, так эффектно задуманный Ипполитом, тщательно им подготовленный и обставленный, — не получился, сорвался: в горячке он забыл заложить в пистолет капсулю. Но курок-то он спустил, но момент-секунду перехода в смерть он испытал вполне. Умер он все же от чахотки. «Ипполит скончался в ужасном волнении и несколько раньше, чем ожидал, недели две спустя после смерти Настасьи Филипповны...»